

Интеллектуал, Исследователь, Лингвист

Рассказ о своей жизни Арон Борисович Долгопольский адресовал семье, жене Ципоре и сыну Якову. Ципора Флейшер – композитор, Яков – театровед, историк, библеист. Ципора записывала неспешное повествование на диктофон почти полгода – с 19 ноября 1999 по 26 апреля 2000. Шестичасовой монолог вместил и детские воспоминания, и размышления о политике, и – самое главное в жизни Долгопольского – историю его страсти к языкам.

Переложение с иврит а Ципоры Флейшер и Ирины Овчинниковой.

Детство. Отрочество. Юность.

Когда моей маме пришла пора рожать, отец бросился искать машину, чтобы отвезти маму в роддом. Машину он так и не нашел, и я родился дома, на два месяца раньше срока. Хорошо, что мы с мамой чуть позже все же попали в роддом, где меня сразу поместили в инкубатор, иначе я бы просто не выжил.

Я не был образцовым послушным мальчиком. Я спорил с бабушкой, с родителями о мировоззрении. Я понимал, что Бога не существует. Очень просто: если он есть на небесах, как же он не попадаетея нам на глаза и не падает, где же он сидит там? Не может Бога быть - где ж ему сидеть там! На облаке? Невозможно сидеть на облаке! Вот я и спорил.

Атмосфера, в которой жила моя семья, была антисемитской. Даже дети, игравшие во дворе моего дома, были антисемитами. Я не играл с ними, вообще никак не общался, вместо этого сидел дома и читал. Неподалеку от нас была детская библиотека, я брал оттуда книги и читал. Почти все, что было в библиотеке, я прочитал.

В восьмилетнем возрасте меня следовало отправить в школу. Школа рядом с нами была плохой, и родители держали меня дома, я не ходил в класс. Кроме того, в восемь лет я уже умел читать и писать. В школе я бы скучал, да и обстановка там была ужасной. Не припомню сейчас точной причины, по которой родителям удавалось оставлять меня дома, но в класс я не ходил. Конечно, были попытки принудить меня посещать класс, но ни одна из них не увенчалась успехом. Я приходил в класс редко, но даже такое положение дел меня не устраивало. В конце концов меня перевели в другую школу.

Между тем пришла пора школьных экзаменов. Отец получил для меня разрешение сдавать экзамен по окончании начальной школы индивидуально. По счастью, мне достался учебник арифметики. Я прорешал весь учебник и выполнил правильно все задания экзаменационной работы. Так что приходил я в школу редко, а закончил успешно. Довелось и в пионерском лагере побывать – вот ужас! Страдания во враждебной обстановке коллективного детского досуга были невыносимы.

С осени 1941 мы жили на Урале в эвакуации. Я сидел дома целый год из-за ревматизма. Не удивительно заболеть ревматизмом, если температура зимой опускалась ниже -40 градусов. А туалетов в школе не было, все туалеты на улице, но об этом мне не хотелось бы вспоминать. Вообще личная гигиена превращалась в проблему: люди мылись в общественных банях. Раз в неделю ходили в баню и мы с отцом. Одна из самых больших радостей детства – это дорогой мамин подарок. В 12 лет мама купила мне часы. И я много лет носил эти часы, купленные мамой. И многие думали, что я чрезвычайно избалованный мальчик. Да, часы тогда были дорогим подарком, не то, что сейчас.

Затем в 43 году, после Сталинградской битвы, мы вернулись в Москву. Раньше вернуться было невозможно. Я пошел в школу рядом с домом, на расстоянии всего двух станций метро. Это оказалось настоящим чудом, и я объясню почему. Наконец-то в 7 классе мне довелось встретиться в школе с умными людьми. Прежде всего – с моими друзьями Эдиком Гальпериным и Витей Островским. Мы сидели за одной партой втроем, вместе учились до окончания школы. Наша школа была необычной, экспериментальной. Дружба с Эдиком и Витей, сама атмосфера в нашей школе определила развитие моего духовного мира, мою культуру.

Я вырос в обыкновенной местечковой еврейской семье. И мать, и отец родом из небольших городков. Отец всегда испытывал любовь к еврейским книгам и обычаям, хотя его нельзя было назвать ни последователем еврейской традиции, ни человеком европейской культуры. Он многому научился сам, у него не было возможности получить гуманитарное образование, мой отец – самоучка, можно сказать. А я здесь, в экспериментальной школе, вошел в мир русской интеллигенции, в русское интеллектуальное пространство. Это чрезвычайно важно – русская интеллигенция, на самом деле – европейская культурная традиция. Аура европейской культуры обратила меня к чтению серьезных книг. Я начал читать русские книги, прочел всю классику, переводы. Читал много. Немецкие книги читал по-немецки. Я это хорошо помню.

Мой друг Эдик Гальперин был человеком очень глубоким. Он хотел все знать, хотел учиться и естественным, и гуманитарным наукам, хотел

понимать искусство. Мы ходили втроем в театр, обсуждали Чехова. Театр в России – это особый высокий мир, уровень театрального искусства не разочаровал бы и самого взыскательного европейского зрителя. Билеты в театр были очень дорогими, поэтому мы брали дешевые входные контрмарки, без мест. Сидя на лестнице, посмотрели почти все спектакли, всегда обсуждали постановки, как я помню.

После возвращения в Москву я смог записаться в Ленинскую библиотеку. Это библиотека особенная. В ней собрана и научная, и детская литература. Был отдел для учеников до 7 класса, другой отдел – для учеников с 8 по 10 класс. Я ходил в Ленинскую библиотеку каждый день, и даже по несколько раз в день, прочел множество книг. И там же мне удалось получить книги на иврите – по специальному разрешению. После, когда стал ученым, ходил в третий читальный зал – в научный отдел. Словом, я был своим человеком в Ленинской библиотеке – бывал в ней с 8 класса до последнего своего дня в Москве. Просиживал в Ленинке до 10 вечера. Уже собираясь в Израиль, внутренне опасался – как же я приживусь там без Ленинской библиотеки!

Мне было 16 лет, когда отец предложил мне поработать в том же проектно-институте, в котором работал он сам, в чертежном отделе. Мне это показалось очень интересным. В школе нас учили чертить и писать тушью. Я умел писать по-русски, однако на работе пришлось перейти на латынь. До сих пор могу красиво писать тушью.

Тогда же я заболел сочинительством. Умел использовать в своих стихах все приемы, все виды рифмы. В конце концов, признался отцу, что я – поэт. Что хочу запишусь в поэтический кружок при библиотеке Ленина. В этом кружке я познакомился с серьезными исследователями литературы. Один из них прочел то, что я пишу, и сказал мне: «Послушай, позволь сказать тебе: ты изощрен в технике стиха. Но не это составляет суть поэзии. Ты должен в стихах передать то, что чувствуешь, чего другие не знают, чего другие не чувствуют». Он объяснил очень просто смысл и предназначение поэзии. Хорошо, я оставил мысль о том, что могу стать поэтом. Продолжал писать стихи в шутку, друзьям на забаву. Что-то вроде частушек и эпиграмм. Писал долго, и в Институте русского языка, и в Институте языкознания. Писал довольно успешно, но все же я не поэт. Вообще-то связь слов, строчка слов для меня всегда является предметом лингвистики, не поэзии. Мое влечение к поэзии – это влечение лингвиста к миру слов.

Что я могу рассказать об этих годах? Я и в самом деле занимался языками. Я вспоминаю, что в старших классах школы я читал лингвистические книги в Ленинской библиотеке. Я хорошо разбирался в сравнительном языкознании, разобрался по книгам. Из книг я узнавал

больше, чем от людей. Только по-прежнему не знал кто же я, что за цель и какие планы есть у меня в жизни...

От знания языков к языкознанию

Я оставался человеком европейской гуманитарной культуры. Многие хотели изучать медицину, как Эдик Гальперин. Он пытался убедить меня: «Языки – это интересно, это для любви, для души. Иди учиться туда, где тебе дадут профессию. Что ты будешь делать с языками? Кому ты нужен с языками?» Но я все же попытался поступить в университет имени М. Ломоносова. А меня туда не взяли. В то время евреям было очень трудно поступить в университет. Тогда я подал документы в институт иностранных языков, и туда меня приняли на отделение испанского языка. Мне исполнилось 18.

В студенческие годы я побывал в армии, нас отправляли летом на два месяца в армейские лагеря – на так называемые сборы. Студентов держали отдельно от остальных солдат, но командиры были те же. Очевидно, правительство хотело, чтобы интеллигенты почувствовали себя солдатами. Отправляли в походы на несколько километров в полном обмундировании. Это было очень тяжело.

Когда учился, обратил внимание на парадигму глагола в романских языках. Я увидел, что она практически одинакова в итальянском, румынском и даже французском. История французского языка – это в основном сложные фонетические процессы, приведшие к отличиям во французской грамматике от грамматических форм других романских языков. Мне захотелось найти истоки, инвариант, скрытый за внешним языковым разнообразием... После студенчества исследования можно продолжать в аспирантуре. Однако всегда подводила пятая графа – обязательная для заполнения строчка «национальность» в любой из официальных анкет.

Меня в конце концов приняли в аспирантуру на кафедру языкознания, я написал диссертацию, блестяще защитился. Диссертация (разумеется!) была посвящена анализу романских языков, я языки романской группы люблю больше других. Это прекраснейшие из языков, правда-правда.

Так вот. Шел 1958 год, и настала пора устраиваться на работу. Конечно, можно пытаться найти работу по объявлениям. В Москве было полно институтов, которые назывались Институт планирования того-то и сего-то – туда идти не хотелось совсем. В институте иностранных языков, который я закончил, остаться работать было практически невозможно, но мне помогли. Я получил место на кафедре перевода, всего полставки. Очень тяжело прожить на «ползарплаты», я постоянно искал хоть что-нибудь еще, подрабатывал переводчиком. Помню, достался мне перевод для военных о

разных видах вооружения, скажем так, наших потенциальных противников: Америки, Германии, Франции, Испании. И я узнал о новом оружии, об автоматах – в том числе об израильском автомате «узи». Так я впервые понял, что в Израиле выпускают что-то хорошее, высоко оцененное профессионалами.

В 1961 году открыли сектор структурализма в Институте русского языка. Сейчас кто из стариков остался там? Даже не знаю. Сектором руководил Себастьян Константинович Шаумян, племянник Льва Степановича Шаумяна, сына Степана Шаумяна – одного из 26 Бакинских комиссаров. Себастьян Константинович - человек глубоко порядочный, именно он пригласил меня и помог устроиться в ИРЯ. Так я начал работу в Академии наук в секторе структурной и прикладной лингвистики, хотя сердце мое по-прежнему принадлежало сравнительному, а не структурному языкознанию.

В Москве был еще один лингвистический институт, Институт Языкознания. Оба института – Институт Русского языка и Институт языкознания – принадлежали Академии наук и находились неподалеку друг от друга. В Институте языкознания по соображениям отнюдь не лингвистическим, а политическим, открыли сектор африканских языков. Создатель и руководитель сектора – Наталия Вениаминовна Охотина. Она была специалистом по суахили и человеком порядочным, причем с хорошими связями, хотела – в точности как Шаумян – принимать не просто лингвистов, а людей талантливых, которые могли бы заниматься помимо всего прочего и африканскими языками.

Меня пригласили в институт, со мной хотели работать. Принять еврея в академический институт для лингвистов не проблема, но есть еще и руководящая и направляющая сила КПСС! Партком ни за что не соглашался. В Советском Союзе бытовало много предрассудков, связанных с евреями: возьми одного на работу, и вскоре весь отдел станет жидовским. И Наталия Вениаминовна выдвигает ультиматум: «Если не будет Арона Долгопольского, то не будет и сектора африканских языков!» Ультиматум подействовал. Так в 1966 году я начал работать с африканскими языками. Для чего мне понадобились африканские языки? Для лингвистического контраста с европейскими, разумеется.

Со многими лингвистами я дружил. С Владимиром Дыбо мы друзья на всю жизнь. Как я с ним познакомился? Я узнал, что в Московском университете читает лекции Вячеслав Всеволодович Иванов. И Володя Дыбо тоже слушал этот курс – Вячеслав Всеволодович был его научным руководителем. Так мы благодаря Вяч. Вс. Иванову и познакомились. Потом часами ходили по улицам, обсуждали структуру языков... После выяснилось,

что так же Володя часами гулял по Москве и разговаривал с В. Иллич-Свитычем, от него он и услышал о ностратических языках. В. Иллич-Свитыч был человеком очень закрытым, не с каждым мог поговорить, типичный интроверт. Он учился в Московском университете, куда его приняли, поскольку не считали евреем. В. Иллич-Свитыч первым обратил внимание на сходство не только европейских языков и языков Индии, но и на общие черты индоевропейских языков с афразийскими языками.

Однажды Владимир Дыбо познакомил меня с В. Иллич-Свитычем. Я уже знал, что есть такой Иллич-Свитыч, специалист по славянским языкам, я видел его на заседаниях лингвистического семинара и в Ленинской библиотеке. В научном зале №3 у Иллича-Свитыча особое место – всегда среди словарей. Как-то я видел его читающим словарь языка коми. «Зачем же слависту словарь языка коми?» - подумал я тогда. Теперь-то понимаю, для чего! Он бывал там каждый день с утра до самой ночи. Когда Дыбо нас познакомил, мы начали общаться. К сожалению, общение длилось недолго. Вскоре Иллич-Свитыч погиб в автокатастрофе. В этом виновата Советская власть. Он, не москвич по рождению, не имел права жить в столице. Он снимал малюсенькую комнату в деревне под Москвой. Не было газа, не было никаких удобств. Однажды он возвращался из магазина, думал о ностратике – и его сбила машина. За семь лет работы в языкознании он сделал неимоверно много!

Володя Дыбо знает языки очень хорошо, почти 100 языков, но говорить на них не может, его не научили. В. Дыбо закончил университет в Горьком. Все, что он знает, он выучил не от своих учителей, а самостоятельно. Я тоже понимаю книги лучше, чем людей. Но все же я немного другой. Я люблю разноречное звучание, музыку разных наречий.

Вот вспомнил еще одного полиглота. Роман Якобсон – едва ли не лучший лингвист-структуралист в мире. Он говорил на многих языках, но всегда с русским акцентом. Он хотел, чтобы все понимали, что он из России. В 1964 был съезд ученых в Москве, Роман Якобсон приезжал с докладом. Так мы с ним познакомились. А в 1980 я встретил его в университете Тель-Авива.

Музыка разных наречий

Я хочу рассказать с самого начала – основная мысль моя – что меня привело в сравнительное языкознание. С одной стороны, любовь к языкам; с другой стороны – профессиональный интерес к ним. И еще любовь к научным исследованиям. Что для меня наука? В чем красота науки? Из многих текстов, тезаурусов, словарей, многих изменений понять, что все

восходит к одному и тому же истоку.

Я всерьез заинтересовался языками лет с 14-ти. Уже тогда знал языки, да и наша экспериментальная школа сыграла очень важную роль в моей жизни. Как я учил языки? Пока я рос, мой слух был внимателен к разноязыкой речи. Я помню: довоенная Москва, мне лет шесть, я гуляю в парке – не в парке, в скверике – и знакомлюсь с шестилетним армянским мальчиком, слушаю его разговор с родителями. А еще мы каждый год ездили в деревню, на так называемую дачу, и там по соседству жил мой ровесник из Азербайджана – мы с ним говорили на его языке.

Ну а если совсем серьезно. Основной иностранный язык, из известных мне, – это **немецкий**, я его знал хорошо благодаря идишу. Мой папа вообще не знал, как говорить по-немецки, он говорил в сущности на идише. Да и в школе мы учили немецкий, поскольку была война с Германией. Учили Гейне, я до сих пор помню его стихи наизусть.

Английский тогда в России практически не преподавали. Английский в России появился сравнительно недавно. В мое время даже стихов было очень мало. На стене в библиотеке висело расписание работы на английском языке. Да еще один хороший мальчик в 6 классе подарил мне учебник, изданный до Первой мировой войны. В учебнике были параллельные упражнения и тексты на немецком, французском, английском и латыни – просто замечательно! Словом, материала не хватало. Ведь не было радио, негде было слушать звучащую речь.

Французский я вообще не учил систематически, взялся за него довольно поздно, в аспирантуре. Но как-то попала мне книжка для начальных классов на французском языке – с нее-то все и началось. Моим учителем французского был Матвей, к нему я ходил на дом, мы разговаривали дома и во время прогулки в парке. Больше ничего. Я вошел в язык, хотя говорю с акцентом.

Есть у меня и **португальский** язык. В нашем институте был сальвадорец, сбежавший в Россию от латиноамериканских католиков, он говорил по-португальски. Потом, как и многих других иностранцев, его отправили в тюрьму. В 1956 году в Москве проходил фестиваль молодежи. Было более 200 делегатов, говорящих по-португальски, и меня взяли работать переводчиком с португальского. Переводил хорошо, хотя толком и не знал языка.

Итальянский тоже никогда не учил, но все равно его знаю. У меня был очень хороший друг, слегка сумасшедший. Он покончил с собой. Он вообще не ориентировался в жизни и не мог адаптироваться к Советской реальности, зато очень любил языки. Благодаря ему я понял, как овладеть языками, не обучаясь им. Он пел по-итальянски, я помню все его песни. Если

это Италия – то все красиво, тем более что в языках есть своя красота. Я понял, что итальянский, испанский и латынь – почти один язык.

Я сам написал учебник **латыни**, храню его до сих пор. Вообще понять текст на латинском языке – это проблема. Сложность понимания латинских текстов кроется в разности мировосприятия. Вербальное мышление было совсем другим, не современным. Можно понимать слова, но содержание ускользает. Я собирался учить латынь в университете.

Перейдем к **славянским языкам**. Я столкнулся со славянскими языками во время войны, на Урале. Там по соседству жили люди с Украины по фамилии Макарчук. Они говорили только по-русски, потому что в Украине в городах не говорили на украинском языке. Только в Западной Украине говорили по-украински. Благодаря Макарчукам мне попала в руки газета на украинском языке, читать ее было очень смешно. Те же слова, что по-русски, но со смешным акцентом, в другом стиле. Польский я тоже узнал в военные годы. Когда мы вернулись в Москву, как раз собирали Народную Армию Польши из тех поляков, что жили в России. Помню, что в 1943 году в Москве были польские армейские подразделения. Ну а для болгарского языка подошла биография друга Сталина, тогда можно было сравнительно легко найти биографии разноплеменных друзей отца народов.

В аспирантуре я ходил на курс **санскрита**, который вел очень интересный человек. Лев Ахмадович Макеев, татарин. Он занимался сравнительным языкознанием. А **иврит** я учил не в академической среде – у театрального портного по фамилии Левинштейн. По его методу мы все время читали тексты. Левинштейн хорошо знал иврит, только говорил с русским акцентом.

Я не могу сказать, что не знаю **арабский**. Я представляю старый арабский, изменения языка. Также представляю **татарский** и **уральские языки**.

Письменность и разные алфавиты я выучил благодаря Советскому государственному устройству. В социалистической стране был многонациональный совет – вроде парламента. Специальные сообщения Совета Национальностей передавали и печатали на языках всех республик. Именно так я выучил грузинский и армянский алфавиты.

Разумеется, и без теоретического обоснования я понял, что славянские языки очень близки, германские языки весьма похожи, романские языки мало отличаются друг от друга. Наконец, славянские, германские и романские также близки друг другу. Это понятно без лингвистических знаний. Что же это значит? Очень просто: зная один язык, я могу понимать другие, понимать изменения между языками, причину различий в звучании близких по значению слов. Когда ты видишь и слышишь языки, они звучат как одна

мелодия, ты можешь оценить близость слов, бесконечное количество различных вариантов сводится к одному инварианту, к одной модели. В этом красота науки.

За пределами языкознания

Поговорим о политике. В юности мы не сомневались в политическом устройстве. Мы, конечно, знали, что нас обманывают, но подозревали, что при капитализме также врут. Как будто люди в капиталистическом мире не получают с детства свою долю глупости в качестве идеологии! Мы понимали, что человек всегда остается человеком. Причем тут разница между капитализмом и социализмом?

В школе в нас каждый день пытались воспитывать патриотизм. В то время господствовала идеология сталинизма. И вот тут мы засомневались: почему патриотизм должен быть врожденным, утробным? Почему бы не узнать сначала весь мир, а не только свою страну? Чем повредит знание всего мира любви к своей стране?

Мои студенческие годы пришлись на конец сталинского правления. Атмосфера была гнетущей, хотя становилось все больше людей сомневающих. Каждый человек, имевший голову на плечах, задумывался и задавал вопросы – и профессор, и руководитель, и генерал. Сталин боялся мыслящих людей. Послевоенные репрессии нацелены на интеллигенцию, не пощадили ни фронтовиков, ни актеров, ни ученых, ни врачей. Особенно евреев. К 1952 году оставалось не так много евреев в культурном пространстве России, представлявших еврейскую культуру – одни погибли, других сломали, третьих уничтожили. А некоторым удалось уехать. Я знал многих из них. Например, еврейский комитет антифашистов – они уехали в Америку, и евреи Америки помогли России.

Появилась зловещие новые веяния – дело врачей, план создания еврейской автономной республики. Просто оправить всех евреев в Сибирь, фактически на верную гибель. Мы втроем – Карлинсий, Котлер и я – ходили по берегу Москва-реки и обсуждали: что случится, если Сталин умрет? Что за люди его окружают, что представляют собой Маленков и другие? Они антисемиты, это очевидно. То, что Сталин антисемит – просто невероятно. Грузины никогда не были антисемитами. В Грузии антисемитизма не существовало. Был антисемитизм на Украине, в Польше, отчасти – в России. Ближе всех к Сталину был Маленков. А Маленков был антисемит. И мы боялись. Да, боялись.

Мне тогда пришла в голову идея: любое правительство – это как мафия, по существу. Я понял вдруг, увидел вокруг себя доказательства. Люди в правительстве борются за свое место, являясь сами просто пустым местом,

ником. Я понял, что происходит во власти. Понял, для чего нужна идеология. В 1952 году, очень тяжелом, во времена дела врачей, прежде всего евреев, даже среди врачей находились оболваненные идеологией люди, которые думали, что еврей-врачи действительно враги народа и агенты империализма.

В 1953 году – мне тогда было 23 – в один прекрасный день пришел в аудиторию, а нам и говорят: «Знаете, что случилось? Сталин умер». Сталин умер и оказался в аду, так кошмар и закончился. А то всех евреев отправили бы в Сибирь на верную гибель. И евреи России праздновали этот день – 5 марта 1953 – года как Пурим, как настоящий Пурим. Между тем Маленков-то оставался жив и здоров. Таким людям, как Маленков, ничего не делается.

Шел 1954 год, я так думаю. Именно 54. По-прежнему управлял Маленков. Как-то раз во время занятия вошел к нам в аудиторию человек и пригласил меня в особый отдел. Человек показал мне фотографии разных людей и спросил, знаю ли я кого-нибудь из них. Там была фотография Эткинса – забыл его имя. Я догадывался, что Эткинс связан с делом врачей. И человек попросил меня, чтобы я перевел с французского языка что-то, связанное с делом врачей. Я выполнил перевод, они записали адрес Эткинса. А я даже не знал, что Эткинс – это парень из Ленинской библиотеки... Именно меня пригласили на допрос, потому что, как выяснилось, Эткинс был знаком с Игорем, моим сокурсником, тоже евреем, как мы с Эткинсом. Я вышел из этой ситуации без последствий, поскольку мой отец был человек маленький, простой инженер, ни руководитель – никто. В противном случае меня бы взяли, как забирали людей, которые хоть что-то значили. Я же занимался исследовательской работой и занимался себе, в самом деле только ею и занимался.

Антисемитизм – это прежде всего преступление, можете быть уверены. Царский период в истории России, загаженный антисемитизмом, так мерзок, что нынешнее поклонение последнему из царей – Николаю Второму – это просто идиотизм.

Эмиграция

В конце концов, как Вы уже знаете, я эмигрировал в Израиль. Об эмиграции в Израиль я задумался в начале 70-х. Нас стали вызывать в особый отдел на интервью, по сути – на допрос. Это были встречи с так называемыми тройками: директор института, парторг КПСС, глава месткома (местного профсоюзного комитета). Такая вот тройка. Меня спрашивали, как я отношусь к Советской власти, каково мое мировоззрение. Нужно вам правильное мировоззрение – есть у меня правильное мировоззрение. И что

спрашивать у меня сейчас? Спрашивали меня, думаю ли я выехать из СССР в Израиль. Я ответил, что не могу выехать – у меня есть ученики. Если бы я уехал, то они не смогли бы защитить свои диссертации, что стало бы для них катастрофой. Да и книга с моим участием не могла бы выйти из печати. Словом, лавировал и маневрировал, чтобы не подвести друзей и коллег. И фамилию свою убрал с титульной страницы одного из академических изданий.

Да, выехать из России было не так уж и легко. Помимо прочего, это очень дорого. Я не мог вывезти свои книги, следовало заплатить на собственные книги еще раз. В библиотеке Ленина был специальный комитет, проверявший, какие книги вывозятся за рубеж и сколько следует за них платить. Я же не мог всю свою домашнюю библиотеку принести в Ленинку! И в комитете согласились, чтобы я напечатал списки своих книг – по-русски и на иностранных языках. Чиновники подписали принесенный мной список и я, наконец, понял, сколько же платить. Я начал отправлять книги Б. Подольскому и другим моим друзьям в Израиле. Почти всю свою библиотеку отправил.

А еще была плата за лишение гражданства! И где же взять столько денег?

Зарабатывал, как в юности, переводами. За переводы всегда неплохо платили. Переводил на испанский на различных конгрессах, в том числе на закрытых партийных. На одном из конгрессов недалеко от меня сидел парень, армянин, переводивший на немецкий. Однажды он вошел в мою комнату и принес мне книгу «Большая ложь о сионизме» – перевод с русского на немецкий. И оставил ее почитать. «Большая ложь о сионизме» произвела на меня впечатление энциклопедии о лжи. Я даже не мог переводить – так было смешно.

Я очень боялся ехать в Израиль – что я буду делать в маленькой стране, без библиотеки Ленина. Я привез очень много вещей, я пытался зафотографировать всю мою московскую жизнь. Это отдельный рассказ. Для каждой книги есть своя история. Но как только я вышел из самолета, я понял, что наступила новая эра в моей жизни. Новый воздух, свобода. Моше Азар, руководитель кафедры иврита - языка и литературы, пришел ко мне сразу же, как только я появился в Хайфе. Мы говорили по-французски. Меня здесь ждали и приняли очень тепло. Это моя страна, мой мир и мои войны. Шестидневная война была настоящим потрясением, мы задумались о другом, о новом Израиле. Не о стране эмигрантов, а о самостоятельном сильном государстве.

Я работаю над Ностратическим словарем, в котором есть 2000 корней. Боюсь точно сказать сколько. Как-то говорил, что будет 2300 корней, но уже

вижу, что это очень много. Я пишу о западном диалекте ностратического языка. Конечно, это первый серьезный ностратический словарь.

Словарь вышел в 2008. И сейчас, в 2010-м, Аарон продолжает работать...